

Глава I. Мальчик из Марьиной Рощи

Я родился 26 мая (по паспорту 25) 1921 года, в четыре утра, "вот в этой самой комнате", потом мне не раз говорила бабушка Домна Васильевна. Без всякого участия системы здравоохранения. Большинство, по-видимому, тогда так появлялись на свет и ничего - гораздо здоровее были теперешних. Произошло это в доме N 24, кв. 5, по 6-му проезду Марьиной Рощи, последнем по улице Шереметьевской перед мостом Виндавской железной дороги (тогда она так называлась, потом - Ржевской, а с 1940 года - Рижской).

Что собой представляла тогда Марьиная Роцца? Этот район от нынешнего театра армии в сторону Останкино - вошел в состав Москвы в начале века, когда граница города переместилась здесь от Сущевского вала к Окружной железной дороге. И быстро был застроен домами, по тем понятиям, городского типа, спланирован по принципу "авеню и стриты". Центральной улицей стала Шереметьевская, от нее по одну сторону строго параллельно шли 2-я, 3-я и 4-я улицы Марьиной Рощи. По левую сторону, если смотреть на телебашню, шла одна улица, которая называлась "Старая", продолжением ее к центру была Александровская улица, позже переименованная в Октябрьскую.

Поперек шли проезды - от 1-го у Сущевского вала до 11-го, первые семь были "до линии" (бытовая топография), то есть до моста через Виндавскую железную дорогу (7-й проезд в тылу моего дома представлял собой, собственно, широкую грунтовую дорогу на краю спуска к рельсам - место для велосипедов летом, для санок и лыж - зимой). Часть Рощи "до линии" считалась более "городской" что-ли. Тут уже почти не было домов избяного типа. По самой Шереметьевской были и кирпичные дома, трехэтажная почта, например, на углу 3-го проезда, много домов с каменным нижним этажом, где размещались булочная, керосинная, "кооператив" и прочие лавки, мастерские. Был тут, напротив почты, кинотеатр "Ампир", один из, кажется, дюжины построенных в начале эпохи синематографа и носивших античные названия ("Колизей", "Антей", "Форум", "Уран" и т. п.). Сюда в 20-х годах мы бегали смотреть увлекательные приключенческие иностранные фильмы, которым потом подражали в дворовых играх. Здесь

впервые увидели "Процесс о трех миллионах", "Праздник Святого Иоргена", о Пате и Паташоне, "Каин и Артем" по Горькому и позднее, конечно, "Чапаева". Немые картины шли под аккомпанемент рояля, на котором виртуозно "воспроизводил" ситуацию на экране парень лет двадцати, большой, полный увалень с доброй улыбкой, в очках, видимо, из "бывших", каких немало осело в Марьиной Роще после конфискации их жилья в центре Москвы. Его знали и любили, весело приветствовали на улице и мальчишки, и взрослые.

Настоящим украшением Марьиной Рощи стали дома, построенные нэпманами в 20-х годах. Их было десятка два. Возникли они не только на главной улице, но и в глубине проездов. Ни один не был похож на другой. Но все почему-то были одинаковой окраски - желто-коричневой. Все деревянные, двух-полутора и одноэтажные, что называется, бревнышко к бревнышку, с венецианскими окнами, изящными наличниками, большим парадным высоким крыльцом под козырьком, без заборов, но за отменно выполненной оградой ниже человеческого роста.

Здесь, как представлялось моей детской фантазией, жили какие-то особые люди. Я специально ходил мимо этих домов, останавливался, и с затаенной завистью и восхищением глядел на ухоженный двор, абажуры в окнах, провожал взглядом хорошо одетых, снисходительно приветливых людей, живших там. Они несли в себе какую-то "красивую тайну", которая, как мне казалось, поселилась в этих необычных домах. Один такой был на углу моего, 6-го проезда, и 2-й улицы. Там жила необыкновенно красивая девочка, в которую я "заочно" влюбился. Страшно переживал: она надменно отворачивалась, когда сталкивалась со мной (увы, неслучайно!). К этим домам подъезжали на извозчике, а то и на автомобиле, что тогда было чрезвычайной редкостью, поражавшей мальчишечье воображение.

В конце 20-х эти дома были "раскулачены", владельцы либо выселены, либо "уплотнены". И через несколько лет эти жемчужины Марьиной Рощи превратились в заурядное скученное и неряшливое жилье сбежавших от коллективизации новоиспеченных пролетариев.

Типичным, однако, для той "моей" Марьиной Рощи был жилой фонд (термин, который тогда никто бы не понял) в виде "дворов". Нечто давно исчезнувшее с карты Москвы. Это - домовладения, образовавшиеся при

застройке нового для начала века городского района. Дворы сохранили названия своих бывших хозяев: "Ходин двор" слева от моего дома, "Жеребцовский двор" - справа.

Дворы - своего рода замкнутое пространство, в котором по архитектуре строений, их окраске, по расположению домов (в каждом по два и не обязательно одинаковых) царила особая атмосфера. Возможно, это всего лишь мальчишеское восприятие "своего" в отличие от чего-то "не своего", где другие правила жизни, другие требования к живущим там людям. Наш двор был особенно зеленый и более ухоженный... Мы могли, например, играть в лапту между флигелями или между нашим домом и сарайным рядом, отделявшем наш двор от "Ходина двора". А для игры в "казаки-разбойники" и т.п. было полное раздолье вокруг нашего флигеля.

Владелица его, вдова Катерина Ивановна, жила на первом этаже "под нами". Всегда в черном, представительная, с умным лицом, строгая, но снисходительная. Она была, разумеется, "лишенкой", но и до того, как перестала быть "домовладелькой", и после 1929 года, пользовалась всеобщим уважением (даже у милиции) и позволяла себе распоряжаться "хозяйством" двора. Суждения ее в дворовых конфликтах и более мелких квартирных проблемах сомнению "по обычному праву" не подлежали...

Но что же представлял собой "двор"? Опишу свой. Он был довольно большой, примерно 100X70 метров, огорожен двухметровым забором. Тяжелые ворота с "верхом", запиравшиеся слегой, с калиткой, которая до 30-х годов тоже запиралась на ночь. Два двухэтажных дома - флигели. Один фасадом выходил на проезд, другой стоял в глубине. По одну сторону двора - ровный ряд сараев, каждый на одну квартиру. Там хранились дрова и всякая рухлядь. В нашем дворе росли пять огромных вековых тополей. Кроме того, вдоль квартиры Катерины Ивановны (во внутреннем флигеле) был "сад": несколько яблонь, ветвями упиравшихся в наши окна на втором этаже, кусты смородины, малины, просто высокая трава, золотые шары. В каждом флигеле по четыре трехкомнатных квартиры и по две однокомнатных. В некоторых из них жило по две-три семьи. Наша квартира - явно "привилегированная". От ее крыльца до ворот метров пятьдесят. Входная дверь фигурная, резная, двустворчатая. Широкая лестница в 22 ступени, с одной стороны которой выложена толстая кирпичная стена - отличительная особенность флигеля, как

бы опора всей остальной деревянной постройки. Площадка перед входом в саму квартиру - "сени". Тут туалет и чулан метров на восемь - для вещей, необязательных в повседневном обиходе. По приставной лестнице можно залезть на чердак - помещение пустое и таинственное, пол засыпан песком, высокие стропила, большое фронтовое окно. В сенях стояла фисгармония - "автомат" для игры на рояле, купленном, когда мне исполнилось 4 года (почему-то запомнилось) за 300 рублей. Фисгармония оказалась, как бы мы сейчас сказали, "нагрузкой" к покупке, ею никогда не пользовались, хотя на полуметровых бумажных рулонах с дырочками были записаны какие-то мелодии.

Рядом с этим агрегатом зимой помещалась большая бочка с квашеной капустой. Покупать качены по осени, потом рубить в большом фанерном ящике сечками было одной из приятных мальчишеских обязанностей "под руководством" отца и бабушки. Бочка покрывалась почему-то великолепным маминым серо-зеленым плащом с пелеринкой, огромными складками, широким поясом - сейчас бы цены ему не было у самых привередливых модниц. Но мама, среди роцинской голытьбы и в "классовой атмосфере" тех лет, стеснялась его носить, как впрочем и другие нарядные и дорогие вещи, сохранившиеся от дореволюционного прошлого. Впрочем, в те "пролетарские" времена вещи вообще как бы потеряли цену. Утварь, посуда, декоративные вазы, статуэтки, которые сейчас сочли бы завидным антикварным товаром, иногда просто выбрасывались, если им "не хватало места" в квартире.

Сама квартира в 20-х годах представляла собой, по-видимому, более или менее типичное жилье для дореволюционного чиновника средней руки или состоятельного интеллигента (учителя, профессора, инженера). Просторная, она была, как я уже говорил, совершенно отделена от других помещений дома. Три комнаты: 20, 18 и 11 метров, соответственно с четырьмя, двумя и одним окнами. Окна высокие с необычными рамами, двустворчатые с перекрестиями вверху и внизу, образующими четыре прямоугольные форточки. Нижние - с цветными стеклами: синими, фиолетовыми, розовыми. Что-то вроде витражей. Двери между комнатами - двустворчатые, белой глянцево-окраски с "золотыми" фигурными ручками. При входе в квартиру - кухня. Она с окном, выходившим в сени, тоже очень

светлые; над лестницей в каменной стене - три, одно подле другого без простенков большие окна.

От кухни шел коридор, он огибал "русскую" в крупных изразцах печь. В нем - умывальник образца "мойдодыр" (словно с иллюстраций к Чуковскому) и огромный сундук, над которым висела вешалка для пальто, а рядом стоял платяной шкаф.

Комнатная мебель почти вся была из "мирного времени", как тогда было принято называть годы до 1914-го и, думаю, совсем не рядовая. Дубовые изящные столы с фигурными ножками. Строгий высокий книжный шкаф, письменный стол, покрытый зеленым сукном. На лицевой его кромке книжная полка со шкафчиком посередине, дверца у него из формовочного темно-зеленого стекла. (Так называемый "туалетик", как и шкаф, остался мне в наследство. Это ломберный складной стол, на нем подставка с тремя ящичками для зеркала, обрамленного резной, фигуристой рамой. Ему уже лет полтора, наверное, а зеркало на серебре без малейшего изъяна и пятнышка.) Стулья, обитые под кожу, с высокими спинками, на которых, как и на сидении масса гвоздиков с красивыми шляпками. В каждой комнате - старинные настенные часы, одни заводные (они до сих пор сохранились у меня и ходят), двое других - с гирями, все с боем.

Этажерки, разные тумбочки, комод, столик "для рукоделья" на тонких ножках, обутых в бронзовые наперстки; комод, плюшевый диван, с которым связаны воспоминания о ласках бабушки и мамы, любивших ершить мне волосы, о первых школьных поцелуях, об объятиях с будущей моей женой. Кресло, достойное, думаю, самых изысканных гостиных, - зеленоватого цвета на изогнутых резных ножках со спинкой грушевидной формы и тоже в ореховом обрамлении. В этом кресле впервые читаны "Война и мир", "Анна Каренина", Пантелеймон Романов, Стефан Цвейг, Ибсен, Гамсун, Гауптман, Верхарн...

Плюшевые темно-бордовые занавески на окнах и на дверях, зеленая с элегантным орнаментом по краям плюшевая скатерть на столе в гостиной - столовой, большая хрустальная люстра, иногда заменявшаяся модным тогда абажуром. В проемах между окон - картины в массивных рамах. Одна из них, волновавшая мое детское воображение и запечатлевшаяся в памяти на всю жизнь, изображала женщину несказанной красоты в открытом легком платье

с арфой в руках; произведение, видно, какого-то модерниста начала века. В маминной комнате висел большой портрет отца, в офицерской форме 1916 года: характерная фуражка с овальной кокардой, кожанка, перчатки, португалии поверх погон¹. Тогда он был поручиком - три звездочки на погоне с одним просветом. Закончил он войну штабс-капитаном. (Спустя четверть века я "свою" войну в 1945 году закончил капитаном, с четырьмя звездочками на погоне, как и у отца.) Через плечо - шашка, бриджи в высоких сапогах. "Красавец мужчина" двадцати двух лет. Этот портрет меня интриговал всю мою "рощинскую жизнь". За ним мне чудилось очень многое из того "прошлого", присутствие которого я постоянно в себе ощущал. Я, конечно, иногда расспрашивал отца "про войну". Но не настолько часто и приставуче, чтобы остались в памяти не только детали, но и хотя бы основная канва его военной биографии, как, впрочем, и всей его жизни "до меня". О чем теперь горько сожалею.

Вот в таком "микроклимате" я рос. И мать старательно, неусыпно, преданно оберегала этот очаг того "мирного времени", который был совершенно чужероден среде обитания - не только во дворе, но и "во всей округе". Были в Марьиной Рощи и еще подобные очажки - квартиры и семьи. Но это лишь "вкрапинки" в люмпенской среде.

Нас было трое детей: старший брат и младшая сестра, Лева и Нина с разницей в два и три года. Я был любимчиком и у мамы, и у бабушки. И свои мечты о продолжении дворянско-интеллигентского "начала", пусть хотя в идее, мама связывала больше всего со мной. В три года я уже читал. Сидя на горшке под письменным столом, я перелистывал подшивки "Нивы", "Огонька"². В четыре года была приглашена "бонна" - учительница французского и немецкого. Звалась она Ксения Григорьевна, сухая, строгая, из старомодных гимназических классных дам, в длинном черном платье, в пенсне на шнурке. Она не только учила нас с братом, но и занималась нашим воспитанием. Она же вскоре стала обучать нас и музыке - играть на рояле. В результате я в детстве прилично говорил по-французски, и еще до школы "разбирался" в немецком.

¹ Незадолго до смерти родителей (в 1970 и 1971 годах) этот офицерский портрет куда-то исчез. Я вовремя не поинтересовался, и ума не приложу, кому бы он мог понадобиться. Ни брат, ни сестра тоже ничего не знают.

После того, как, Ксения Григорьевна, не очень успешно завершила свою работу над нами с Левкой, мать не оставила надежды обучить меня музыке: устроила меня к учительнице (к сожалению, не помню ее имени), жившей у Страстного монастыря. Он тогда еще стоял на месте нынешнего кинотеатра "Россия" и бульварчика с памятником Пушкину, который в те времена находился прямо напротив - в начале Тверского бульвара. Дом учительницы, шестиэтажный желто-белого цвета с пилястрами, построенный, судя по архитектуре, в конце прошлого века, и сейчас здравствует на своем месте и вновь "глядит" (через эстакаду "России") не на улицу Чехова, а на свою прежнюю Малую Дмитровку.

И вот с нотной папкой на длинных шнурках я два раза в неделю ездил до Трубной на трамвае, а оттуда шел к своей учительнице. Она была лет пятидесяти, полноватая, уткообразная, с медно-рыжим пучком в виде башенки на макушке. Видно, тоже из "бывших", тоже в "уплотненной" огромной старорежимной квартире. У нее было две комнаты, одна против другой через коридор. Какая-то вся несобранная, по-доброму суетливая, не стеснявшаяся посвящать меня в квартирные подробности своей жизни. Мне разрешалось заходить прямо в комнату, где мы занимались (если дверь мне открывал кто-то из жильцов). Там я ее ждал в тесноте изысканной старинной мебели. Особенно я любил рассматривать огромную картину на стене, по-видимому кого-то из немецких романтиков начала XIX века. Мрачный лес, ночь, лунные блики сквозь ветви, напоминающие огромные страшные, нечеловеческие руки. И всадник в развевающемся длинном плаще, скачущий на мощном коне. Человек одной рукой что-то бережно прижимает к груди, глядит не вперед, а на этот предмет у гривы лошади.

Однажды моя учительница застала меня за этим занятием. Увлеченный, я не сразу даже вскочил поздороваться.

- Что это, знаешь?

- "Лесной царь".

- О чем там?

- Это баллада...

- Ты даже это слово знаешь. А что значит - баллада?

- Это, кажется, рассказ в стихах.

- Вот как! - Удивилась.

- А, может, знаешь и кто написал?

- Гете.

- Но это по-немецки...

- Я у Жуковского прочитал: "Кто скачет, кто мчится под хладною мглой?"... И в конце: "Ездок доскакал...В руках его мертвый ребенок лежал". (С тех детских лет мне почему-то запомнилась другая концовка: "Ребенок был мертв". Видимо, я читал и чей-то другой перевод.)

Не очень прилежный и, наверное, на ее взгляд не перспективный ученик, я, десятилетний, после этого разговора, сильно подскочил в ее глазах. Она даже стала с тех пор как-то несколько по-взрослому ко мне относиться.

Запомнилась она мне еще и одной бытовой подробностью. Это повторялось почти каждый раз, когда я оказывался в комнате раньше нее. Через несколько минут приоткрывалась дверь и ее голая рука стаскивала с рядом стоявшего стула чулки и панталоны с кружевами...

Продержав меня некоторое время у этой милой старушки (по моим тогдашним представлениям), мама решила меня "продвинуть" в музыкальном моем восхождении - устроить в школу при Консерватории. Профессором там и даже, кажется, чуть ли не проректором была Валентина Николаевна Шацкая (имя и отчество "вспомнил" по энциклопедии), жена основателя первой маминой школы (в 1905 году). Мама рассчитывала, что Валентина Николаевна ее помнит и повела меня к ней... прямо туда, в Консерваторию на Никитской. Вошли в огромный светлый кабинет. Сухонькая, изящная, пожилая (мне показалось) женщина - ей было тогда лет пятьдесят, дожила же она почти до ста - в черном платье и совсем седая, с прической а'la букли, встретила спокойно, будто недавно виделись. Маму усадила в сторонку, а меня сразу отправила за рояль. Сама уселась в некотором отдалении в креслице, скрестив вытянутые ноги и положив кисти рук ладонями под локти.

Я что-то сыграл. Она попросила "еще". Сыграл. Потом еще. " Ну, хватит, - говорит. - Ты походи погуляй, а мы с мамой поговорим". Мама вышла минут через пять. Я по лицу понял, что стать Рахманиновым или хотя бы быстро набиравшем тогда славу Эмилем Гилельсом мне не светит.

На том и кончились мамины музыкальные амбиции насчет меня. Но чтоб "не забыл", она пристроила меня к начинающей преподавательнице (возле 1-го Рощинского проезда), которая занималась со мной кое-как. А я, зная давно, что из меня ничего не выйдет, ходил к ней охотно: уж больно аппетитной была эта веселая, фигуристая девица. И ей нравилось, что она мне нравится. Это я заметил. Я был в это время уже в 7-м классе, то есть как раз тогда, когда впервые со мной случилась... поллюция.

Кстати, уж раз коснулся этого предмета. На следующий год, на даче в Тучково я познакомился с парнем, на год старше меня. Он - тоже дачник, но в соседней деревне. Однажды мы сидели с ним на пригорке возле дороги, ведущей со станции. Вечерело. Отцы семейств возвращались из Москвы. И вдруг мой приятель как-то опасливо придвинулся ко мне, будто хотел за меня спрятаться.

- Видишь этого мужика?

- Ну и что?

- Это муж.

- Чей муж?

- Понимаешь, пока он на работе, мы с его женой... ну... этим... занимаемся. Знаешь, просто бешеная. Еще и еще ей давай, я уж исхожу весь, не могу, а она опять прибегает, манит на сеновал...

Меня ошеломил его рассказ. Вот, значит, как это делается! И совсем необязательно со сверстницей! Даже, оказывается, любопытней и сильнее!

Я видел потом эту женщину. Лет двадцати двух с ребенком на руках встречала мужа. Очень хороша собой. Я буквально впился в нее глазами, замороженный ее таким соблазнительным грехом.

Но вернемся к музыке. Старания матери не прошли даром. Я с ранних лет узнал и полюбил серьезную музыку, ее историю, жизнь многих композиторов. В школе (главной моей школе, где я учился с 8 класса) редко кто не играл на рояле. В те годы модно было в интеллигентных семьях обучать детей музыке, просто так, "для общей культуры". Это, очевидно, воспитывало, облагораживало. Мы пристрастились бегать в Консерваторию на концерты, отнюдь не детские. Особенно часто - вдвоем с моим другом Вадькой Бабичковым. Софроницкого почти не пропускали. Доставали билеты на верхотуру... Глиэр, Нейгауз, Небольсин - самые запомнившиеся.

Самыми моими любимыми стали Бетховен и Вагнер. У Вадьки - Моцарт и Чайковский. Моцарта я оценил позже, Чайковского же никогда не любил, а после того, как узнал о его "пороке" (правда, уже перед войной из книги Василия Гроссмана), возникло еще и предубеждение. Впрочем, дело не только в моем природном отвращении к гомосексуализму. Что-то было и другое, в самой его музыке, что-то слишком сладковатое, какая-то беспомощность...

Со школьных лет, надолго, лет до шестидесяти, хождение в Консерваторию было для меня как для искренне верующего посещение церкви. Помню, приехав на несколько дней в январе 1946 года в Москву в отпуск (из армии меня после войны отпустили только в апреле того года), первое что я сделал - побежал один в Консерваторию, обрядившись в довоенный костюмчик.

Однако, вернусь в детство... В семь лет, то есть до тогдашнего официального срока, мать определила меня в школу, но не поблизости - в "рошинскую", а на Маросейке, в Петроверигском переулке, где школа сохраняла традиции старой, по немецкому образцу "поставленной" гимназии, и где учителя были "прежние", старорежимные - настоящие. (Сейчас в этом фундаментальном здании времен строительного бума 1911-14 годов - кардиологический центр.) И вот я, семилетний, каждый божий день ездил на трамвае N 2 (от "рынка", в километре от дома) по Божедомке (ул. Дурова), 3-й Мещанской, через Сухаревку (вокруг башни), по Сретенке к Ильинским воротам (возле часовни - памятника Героям Плевны) в школу. И - обратно. Зимой возвращался уже в сумерках. Но зато, по убеждению матери, получал "достойное образование". Трамвай был обычно переполнен. Люди висели на подножках. Часто прерывался ток и приходилось ждать или бежать вприпрыжку, чтобы не опоздать.

Впрочем, такие ежедневные путешествия, как я позже оценил, были бесполезны не только с точки зрения качества первоначальных знаний, хотя "идеология" уже тогда пробивала чопорность гимназических учителей старого закала. Остался в памяти такой курьез. "Учительница первая моя" - Надежда Ивановна рассказывала про "первую мировую империалистическую войну". Объясняла причины ее возникновения "по-Ленину": борьба за рынки сбыта. И вот я, который каждый день втискивался в трамвай возле

рощинского рынка, никак не мог уразуметь: с какой стати масса солдат в разных касках и шинелях, в окопах за колючей проволокой и бешеных кавалерийских атаках занималась чудовищным смертоубийством, если "причиной" были паршивые рынки, вроде моего рощинского? А это я "знал" по картинкам в "Ниве", по рассказам отца и по фильму, который сама же Надежда Ивановна водила показывать в киношку по соседству у Покровских ворот: там жерло пушки выдвигалось в экран, все увеличиваясь, а потом стреляло в зал... и раненые, изувеченные, отравленные газом солдаты. Взять в толк я этого не мог, а расспрашивать стеснялся...

Но, повторяю, эта "весьма отдаленная" начальная школа давала не только сравнительно хорошую грамоту. Мои путешествия к ней и обратно знакомили меня с Москвой, той, почти исчезнувшей теперь, расширяли среду обитания и среду общения, развивали наблюдательность и самостоятельность, чувство ответственности за себя.

Однако, выдержал я только четыре года. Потом в тайне от матери стал саботировать: вместо школы болтался по улицам - Екатерининский парк, Бахметьевская, Лазаревские переулки. Мать заметила. Встревожилась. Упрекала. Кстати, никогда в семье, ни меня, ни брата, ни сестру не наказывали физически. Не говорю уж о ремне - подзатыльников даже не было. Самое суровое - это "в угол". И то редко. А самое тяжелое, - когда мама переставала с тобой "разговаривать". Ну, вот совсем не замечала твоего существования. И выдерживала по три-четыре дня. Это было "страшное" испытание "на гордость" и на любовь к ней. Так вот: я продолжал свое. Мать сказала: "Переводить я тебя не буду, ищи школу сам". И я стал ходить по окрестным школам, долго, помню, просиживая у входа, прежде чем решиться войти. И даже, войдя в здание не раз возвращался, "не найдя" директорши. Наконец, "выбрал" - приняли меня в 10-ю школу-семилетку в Вышеславцевском переулке возле Суцевского вала, в пяти минутах ходьбы от рынка.

Почему я забастовал? Казалось, когда был меньше, в 1-, 2-, 3-м классах, терпел, а теперь ни в какую, хотя и повзрослел, и привык мотаться из края в край Москвы.

Со мной что-то произошло... Была описанная выше микросреда. Но она находилась в плотной атмосфере "внешней среды" - двора, переулка,

окрестностей, потом два с половиной года - с 5-го по 7-й класс, - чисто рошинской 10-й школы. И я формировался под воздействием двух "сил" - изнутри и извне. Что оказало большее влияние? Сколько было позитивного и негативного в каждой из этих "сил" - невозможно определить. Ясно, однако, что я не стал заурядным, примитивным парнем с городской окраины, но не получилось из меня и рафинированного, очищенного от всякого плебейства интеллигента, каким хотела меня сделать мама. Это - общий итог. А складывался "облик" постепенно, незаметно и противоречиво. Противоборство двух "сил" и соблазн с обеих сторон усиливали нервную нагрузку на "биологически", думаю, довольно хрупкую мою натуру.

Попробую сам себя "воспроизвести" в этом "магнитном" поле с помощью воспоминаний о своих близких, о конкретных эпизодах моего детства и событиях, сказавшихся на формировании "облика".

Прежде всего - о "предках". Мой дед. Иван Иванович Черняев. Фамилия эта имеет отношение к знаменитому при Александре II генералу Черняеву, одному из "покорителей" Средней Азии в 60-х годах и неудачливому полководцу в освободительной войне сербов против турок в 70-х, воспетому за это Достоевским и осмеянному Салтыковым-Щедриным. Дед был его троюродным племянником. Такова семейная легенда. Происхождением он из Бронницкого уезда (под Москвой в 20 км от Раменского). В Москве поселился в 80-х годах. Завел "дело" по инструментальной и золотарной части. И, судя по всему, хотя отец по понятным причинам на эту тему "не распространялся", был до революции довольно состоятельным человеком. Как конкретно рушилось его дело, осталось мне неизвестным. Помню только, что он попытался воспользоваться НЭПом и наладил "мастерскую" в Зарядье, на том месте, где теперь гостиница "Россия".

Дед был крупный мужчина, "представительный", как тогда говорили, красив лицом, с короткой седой стрижкой и темными усами, немного грузноватый. Было много фотографий - его одного и с бабушкой, в дореволюционном стиле. Дед - при галстукке или с бабочкой, через всю жилетку - большая цепочка от часов. (Пропали, увы, все эти снимки при "конце" нашей рошинской квартиры в начале 70-х годов.) Жили они с

бабушкой в самой маленькой комнате. В верхнем переднем углу помещалась большая икона Божьей Матери с лампадой, по бокам от нее - размером поменьше - Николай Угодник и еще кто-то. Дед часто усаживал меня к себе на колени и рассказывал что-нибудь интересное.

В Марьиной Роще Ивана Ивановича знали многие. Шел - с ним раскланивались и пожилые, и совсем молодые.

Когда он умер (в 1927 году), хоронила его, согласно молве, "вся Роща". Для меня это было, наверное, первое в жизни большое потрясение. Мать запрятала нас, детей, в дальнюю комнату, но мы все-таки сумели подсмотреть, как тяжело его несли по лестнице на второй этаж, как уложили на стол в гостиной, потом привезли гроб и он два дня и две ночи лежал там, как толпились люди и батюшка отпевал. Мне не разрешили провожать его на кладбище. Я, шестилетний, стоял у окна и смотрел во двор, который был забит людьми. Было снежно и морозно. Вынесли иконы, крышку гроба, потом деда. Как-то покорила меня тогда суетливая потерянности отца, он пытался распорядиться. Поставили гроб на две табуретки. Вышла бабушка, вся в черном, ее вели под руки. Открыли ворота. На белых полотенцах шестеро, отец у изголовья, понесли. Заметил я, что и табуретки захватили с собой. Его ведь несли на руках до самого Лазаревского кладбища. Отпевали в церкви, построенной в XVIII веке и, кажется, отмеченной в истории архитектуры. Потом ее разорили, превратили в барак под общежитие. И только совсем недавно восстановили во всей ее импозантности. Еще до войны кладбище снесли, хотя там и знаменитости были похоронены. Особенно останавливали внимание пропеллеры на железных столбах вместо крестов - на могилах авиаторов первой мировой войны. На месте кладбища (очень кстати!) был разбит детский парк с аттракционами. Затерялась и могила деда, метрах в пятидесяти от алтарной стороны храма. Бабушка часто меня туда водила, заставляла есть кутью, а я брезговал. С тех пор невзлюбил рис.

Бабушку, Домну Васильевну, я не раз уже упоминал. И все-таки. Была она высокой, статной, с открытым лбом, правильными чертами лица, с большим пучком. Донашивала одежды "мирного времени", длинные до щиколотки темные юбки.

Под ее крылом я прожил всю свою жизнь до войны. Она меня любила беззаветно. За меня, чаще молча, больше всех переживала, может и понимая, что во мне происходит, но вряд ли могла разобраться. Мои первые "телесные" ощущения связаны с нею - она меня мыла в большом эмалированном белом тазу на кухонном столе. Укладывала спать и сидела рядом, трогая волосы, "спинку". Соперничала с матерью, чтоб защитить на мне что-то порванное, следила, чтоб одевался "как надо". Мы с ней вместе растапливали печку - "контрамарку", дверца у которой была на аршин от пола. Сидели рядышком, глядя на огонь, - она на маленькой скамеечке, я - на полу у ее колен. И она мне что-то тихо говорила. От нее я узнавал дворовые новости и "правила поведения".

Когда подрос, посылала меня в магазин, позже - в закрытый распределитель, где давали продукты по карточкам. Еду готовила, как правило, для всех. Но для меня умудрялась тайком что-то припрятать и угощала, закрыв в своей комнате.

Она почти не болела (или я не замечал). Я, конечно, любил ее. Скорее был привязан. Для меня она была естественной "средой существования", доброй и безотказной. С матерью у нее отношения были прохладные. Мать держалась несколько высокомерно, хотя открытых ссор я не помню. Обиды скрывались.

Я, как водится, "задолжал" бабушке больше даже, чем матери. Ответной доброты и простой внимательности не было и вчетверть того, что я получал от нее. А часто и капризничал, грубил, обижал нежеланием не только слушаться, но и слушать.

Можно воспроизвести множество эпизодов из наших с ней "отношений". Оставлю здесь лишь некоторые, относящиеся к последним нашим с ней годам. Когда с приходящими в гости подругами я уже не только занимался уроками или романтическими разглагольствованиями, стараясь произвести впечатление, но и запрокидывал избранницу на диване, и для бабушки в соседней комнате наступала подозрительная тишина, она, не входя и не позволяя себе стучать в дверь или в стенку, кричала: "Только, смотри! Только, смотри у меня!".

В 1940 году во время экзаменов за 2-й курс я вдруг заболел воспалением легких, да так, что уложили в больницу. Отвезли меня туда

совсем беспомощным, но дня через три, когда немножко очухался, я, люто ненавидя и страшась больницы и вообще всякой медицины, сбежал: по трубе спустился из окна со второго этажа. Больница была там, где сейчас ресторан "Север", рядом с роцинским универмагом, то есть в километре от дома. Почти в беспамятстве, по Шереметьевскому бульвару от скамейки к скамейке, на которых отлеживался, я добрался до дома. Все, кроме бабушки, в это время уже жили на даче. Она, увидев меня, всплеснула руками и несколько секунд слова не могла произнести. Потом заохала, напоила чаем и уложила, села рядом. Говорила ласковые слова, не укоряла, не пугала "последствиями", не грозила вызвать доктора, тем более упрятать меня обратно. Что-то дала мне. И я проспал чуть ли не целые сутки. Болезнь отступила, начал готовиться к очередному экзамену, а по вечерам мы с бабушкой - при открытых окнах, за которыми совсем рядом зеленели яблони и цвела сирень, - сидели за большим обеденным столом и я читал вслух сказки Оскара Уайльда.

Наше прощание. Осень 1941 года - я уходил на фронт. Бабушка суетилась, пытаясь засунуть в мешок и то, и это, видно, вспомнила, как провожала своего младшего сына Сашу на первую мировую, с которой он не вернулся.

Сдерживала слезы. Спустилась со мной по лестнице. Прошла рядом через двор, край платка у рта. Дошли до места, где были раньше ворота (с началом войны заборы и ворота снесли, чтобы на случай пожара от бомбежки огонь на перекидывался с дома на дом). Говорит: "Толюшка, дальше не пойду. Ноги не несут. На вот, спрячь". Я взял завернутый в тряпочку маленький предмет. Потом, уже в эшелоне развернул: там была овальная серебряная иконка, которую я носил на шнурке в раннем детстве - до тех пор, пока в 1-м классе ребята на физкультуре не обнаружили ее и не подняли меня на смех.

Целуя меня в голову, бабушка, наконец, заплакала. Махнула рукой куда-то в сторону, отвернулась и пошла обратно. Больше я ее никогда не видел. Она умерла в начале 1945-го - я в это время раненый лежал в госпитале в Риге...

И - раз уж о войне пришлось раньше времени упомянуть. Когда я 22 июня среди дня явился домой, бабушка долго тревожно смотрела на меня,

ставя что-то мне поест. И произнесла, как бы между прочим: "Русский медведь медленно размахивается, а уж как ударит!.."

Мама была миловидной, по теперешним понятиям и, судя по фотографиям тех лет, "хорошенькой". Отца ее, своего другого деда, я не знал совсем, он умер задолго "до меня". На портрете он в мундире царского чиновника с какими-то орденами. Бабушку по матери помню смутно, она жила в семье моего дяди, умерла в начале 30-х годов. Мама окончила женскую гимназию. Здание это сохранилось до сих пор - на улице Герцена, напротив Консерватории, угол Неждановой, немножко уступом от переднего ряда домов. Потом служила в страховом обществе "Россия", в том самом здании на Лубянке, которое впоследствии освоил Дзержинский. Вращалась в кругу московских барынь. В имении одной из них, Шалапутиной, на Филях, почему-то еще не конфискованного, мы жили в 1922 году на даче, моей первой в жизни даче, чего я, разумеется, не помню. Была она своей, "милой Оленькой" в домах немецких купцов, обосновавшихся в Москве. С началом войны их "изгнали". В двух толстых, обшитых бархатом и сафьяном фотоальбомах, которые хранились долго, до самой второй мировой войны, много было (в овальных и квадратных "оконцах") портретов маминых знакомых из этих богатых, солидных семей. В московской состоятельной и интеллигентной среде прошла ее юность.

Лето проводили на дачах. В начале двадцатых годов - в модных тогда "чеховских" местах: Томилине, Краскове, Малаховке. В 1923-25 годах мама уже сама вывозила нас туда на снимаемые по собственному выбору дачи.

С Красковым связано одно мамино воспоминание, которое вошло в семейную хронику - характерный штрих к ее образу. Летом перед войной, двадцатилетней девушкой она гостила у своих друзей. Каталась иногда на велосипеде - на настоящем старомодном дамском, в развевающемся длинном кисейном платье. И вот однажды, выехав на тропинку вдоль знаменитого красковского песчаного обрыва над речкой, она стремительно покатила вниз: сорвались тормоза. "Я уже думала, что пропала, - не раз рассказывала она нам, - закрыла глаза и вот-вот готова была бросить руль... И вдруг оказалась в чьих-то объятьях. Открыла глаза, не понимая, что произошло, и увидела чуть ли не вплотную смеющееся лицо. Меня держал на руках высокий красивый офицер. Когда я опомнилась, он поставил меня на ноги,

но рук моих не отпускал: "Благодарите Бога, мадемуазель, что меня занесло сюда в этот час!" Потом он подобрал укатившийся велосипед и проводил меня до дачи. Больше я его не видела".

Всю жизнь, пока ее не смяли окончательно война и измены отца, мама носила в себе свое романтическое, красивое, благородное прошлое. "Население" двора и "6-го проезда", конечно, видело в ней барыню. Когда ей случалось иногда (по нашей мальчишеской небрежности) идти с ведром за водой к колонке на угол проезда и Шереметьевской, шагах в пятидесяти от наших ворот, бабы высовывались из окон, встречные останавливались: Такое событие! Но плебейской враждебности к ней не было , хотя она отнюдь не старалась подлаживаться под "простых", держалась не высокомерно, но с достоинством, сохраняла "дистанцию". Видимо, действовали ее приветливость, вежливость, доброжелательность. Мужики с "почтением" кланялись ей, а женщинам льстило, что "такая дама" уважительно к ним относится.

Ее женское обаяние, оставляемое ею в любой среде впечатление "хорошего человека" безотказно влияло на отношение к ней разных людей. Вот один из эпизодов в ее жизни.

С началом первой пятилетки жить стало трудно и нашей семье, которая, как заметил читатель, была материально довольно благополучной во времена НЭПа: отец неплохо зарабатывал инженером-механиком на заводике в Замоскворечье, на Зацепе³. Теперь и матери пришлось пойти работать. Она устроилась в контору завода вторичного алюминия, который находился совсем рядом, тоже в 6-м проезде, только по ту сторону Шереметьевской. Называли его все "Корешком", по имени бывшего владельца Корешкова. Завод - довольно большой, с еще большим филиалом "за линией" - вонюче и сине дымил нам в окна, когда ветер дул в нашу сторону.

Будучи "бывшей", мама, однако не погнушалась устроить нас с братом в заводской пионеротряд. Он, кстати, был малочисленный - человек пятнадцать: тогда еще не существовало сплошной пионеризации. И когда

³ Пошли в распродажу серебряные вещи - ложки, вилки, посуда. Мать посылала нас с братом сдавать их в "торгсин", сама стеснялась. Торгсин расшифровывался как "торговля с иностранцами". На самом деле это были пункты скупки государством по дешевке оставшихся у населения золота и серебра. Ходила тогда такая частушка (в подражание "веселой" спортивной песенке):

*Как в торгсине на витрине Есть и сыр и колбаса,
А в рабочем магазине - Солнце, воздух и вода.*

наш маленький отряд в синих рубашках и трусиках, с горном, барабаном и знаменем маршировал по булыжной мостовой от "Корешка" через мост "за линию", к филиалу завода, мы становились объектом всеобщего любопытства и, как нам казалось, восхищения.

Естественно, мы с братом часто бывали в заводском клубе, построенном в барачном стиле из каких-то деревянно-мазанковых плит. Смотрели там фильмы, пускали нас и на торжественные вечера по случаю революционных праздников. Помню один такой вечер (наверное, в 1930 году), когда увидел маму в президиуме. Она сидела в своем фиолетовом крепдешинном платье, переброшенном по моде 20-х годов - покорооче и с тремя пышными складками на юбке - как в кино тех лет. Смотрелась она какой-то экзотической птицей, случайно оказавшейся в чужой стае... Может это было 8 Марта: много женщин сидело в президиуме в простеньких кофточках, с короткими стрижками (у мамы был большой пучок), спущенными на плечи косынками. И это еще больше оттеняло необычность появления в президиуме женщины будто из другого мира. Вместе с ними маму отмечало руководство пролетарского коллектива как "ударницу". Ее не отторгали. И, повторюсь, в значительной мере благодаря "неконфронтационности", как сказали бы сейчас, маминого характера, ее "лояльности", ее женского, помноженного на внутреннюю культуру, фатализма: такова мол, жизнь. И жить надо с людьми, какие они есть...

Работа ее на заводе кончилась драматически. В стране начиналась чистка от "бывших". Отца уволили за его офицерское прошлое, хотя в Белой армии он не служил. И вот однажды маму пригласил в кабинет председатель завкома. Я помню его. Он часто бывал в пионеротряде (на втором этаже клуба). Человек абсолютного авторитета на заводе. Всегда в тяжелой кожаной куртке нараспашку, в черной косоворотке, в яловых сапогах, с большими усами, лет пятидесяти, - ну прямо из "Трилогии о Максиме". Мама рассказывала об этом так: "Вошла я, поклонилась, назвав по имени-отчеству, села на краешек табуретки. Он вышел из-за стола. Обнял за плечи. Посадил в кресло, сам сел напротив..." Матери было тогда 35 лет. Выглядела она молоденькой, хрупкая, изящная. "Вот какое дело, Оленька, - начал он. - Ты знаешь, как сейчас закручивается. Мне уже сообщили, что твоего Сергея Ивановича-то того... Предупредили, что у меня на заводе есть чуждый

элемент. Спорить не могу даже я, а ты знаешь, кто я. Советую тебе, Оленька, - уходи потихоньку. Потом, может, помогу куда-нибудь устроиться. А от нас уходи. Затеют дело, таскать будут, позорить. Допрашивать публично в этом клубе - кто ты, да что. Зачем тебе это? Да и обернуться может похуже: такие собрания по-разному кончаются". Взял за руку. Положил руку на плечо мне, проводил до двери. Заплакала я уже на улице."

Все чаще вспоминаю я этот эпизод в наши дни, когда деятели того времени и такого ранга изображаются сплошь негодьями, лишенными и человечности, и морали. А ведь этот человек едва ли не типичный для тех лет. Неслучайный на своем посту, на таком крупном заводе, наверное и с "октябрьской" биографией. Председатель профкома был "бог и царь" в те времена на предприятии с тысячным персоналом. Членов-то партии всего несколько человек, ячейка. И вот этот представитель абсолютной классовой власти так поступает с "какой-то Оленькой". Казалось бы, что она ему, кто она такая - "барынька", "офицерская женка"?!

Он действительно помог ей позже устроиться кассиршей в молочную на углу Палихи и Тихвинской. По дороге в свою дальнюю школу я иногда забегал к ней и получал тянучую "коровку", которых теперь уже нет, прямо с молокозавода, находившегося неподалеку на Божедомке напротив больницы (где памятник Достоевскому).

Каким я себя помню после младенчества? Свясно воспроизвести невозможно. Даже годы путаются.

Отчетливо, например, помню морозный январский день. В доме какая-то напряженность, которая, как собаке, передавалась и трехлетнему ребенку. Бабушка подвела меня к окну. По мосту "из-за линии", метрах в ста от дома, шло много людей с красно-черными флагами. Это похороны Ленина.

Помню - был уже чуть постарше - в "Огоньке" снимок: на листе бумаги пистолет (какой-то странный для меня формы, потому что этот предмет у меня ассоциировался тогда только с наганом) и три пули, разложенные треугольником, соединенные ниточкой. Видно, была какая-то годовщина покушения на Ленина.

Как всегда в старости много и отчетливо возникает вдруг в памяти разных бытовых подробностей из самого раннего детства. Вот некоторые.

Я выхожу на крыльцо. Усаживаюсь - локти на коленях, подбородок на ладонях. Рядом конура. Из нее вылезал огромный Полкан, лохматый, рыжий с белым. Потягивается, зевает. Машет хвостом, приветствуя меня. Крыльцо было длинное, на две двустворчатых входных двери, к нам наверх на второй этаж, и в квартиру домовладелицы Катерины Ивановны, ей и принадлежала собака - сторож всего двора.

Иногда случалось, во двор входил человек в необычной одежде (тубетейка и шаровары) с огромным мешком за плечами, висевшим чуть ли не до пят. Громко кричал: "Шурум-бурум" (старье берем). Старьевщик, татарин. Полкан реагировал на него спокойно: гавкал он только на незнакомых. Я же бросался за дверь, запирали ее на цепочку и в щель, затаив дыхание, наблюдал, как (иногда!) жильцы выносили разное барахло, а он засовывал его в свой необъятный мешок. Я боялся сам туда попасть.

Бывало, с этой своей позиции на крыльце, я наблюдал "жизнь животных". Дважды, кажется, бабушка заводила в доме кота. Это были обыкновенные серые барсики, с белой грудкой и пятнышком на морде. Один, который появился раньше, покрасивее, второй посильней. Хотя нас, детей, было трое, и тот и другой коты считались моими. Они спали у меня в ногах или на груди, обняв лапами за шею.

Естественно, мой кот был не один в нашем и соседнем дворах. Но мой был, конечно, "лучше всех".

Когда он степенно появлялся на дворе, кошки, если таковые оказывались поблизости, - одни бросались куда попало, другие замирали, прижавшись к стенке. Только потом я сообразил, что первые были коты-соперники, вторые - похотливые самки. Если же кто из соперников осмеливался тягаться с "моим", он становился жертвой быстрой и беспощадной расправы. Удивляло меня, правда, то, что, проделав это, мой барсик не шел овладевать добычей-самкой (этим он занимался, видимо в другое время), а возвращался ко мне и, зажмурившись, растягивался на крыльце.

Второму коту однажды, под конец его существования, случилось совершить подвиг. Сидели мы вот так рядышком на крыльце и вдруг из отдушины в фундаменте соседнего дома выскочила огромная крыса. Быстро-быстро стала перебегать к другому дому. Кот рванулся к ней, мигом догнал и

завязалась яростная схватка. Говорят, что один на один в таких случаях, кошка с крысой не справляется. И, обычно, избегает столкновения. Мой не колебался ни секунды. Схватка длилась минут пять. Крысу он загрыз. А сам, окровавленный, медленно добрал до меня, проковылял мимо, протиснулся в дверную щель и стал медленно подниматься по лестнице. Засел в чулане, не выходил оттуда три дня. Бабушка пробовала его кормить. Он не прикасался к еде. Потом оклемался. Впрочем, вскоре, кажется, через несколько месяцев, он исчез совсем. "Пошел умирать", - сказала бабушка. Так же поступил в свое время и его предшественник.

Была во дворе дворничиха тетя Маня. Белокурая, с прической по моде 20-х годов, лет тридцати. Она, как почему-то и многие во дворе (может, мне так казалось или хотелось, чтобы так было), меня очень любила. Две вещи запечатлелись, связанные с нею. Осенью она уезжала на несколько дней в деревню и привозила антоновских яблок. Как только видела меня во дворе, брала за руку и уводила к себе. Самым увлекательным для меня занятием у нее было вставать на подоконник и "глядеть вдаль". Метрах в ста проходила, как я уже писал, Виндавская железная дорога, но из окна тети Мани был виден только паровозный дым от проходящего поезда, потому что в этом месте полотно пролегалo в котловине. Зато в дали, примерно, в километре была видна как на ладони другая железная дорога. По ней поезда мчались очень быстро. Это - Октябрьская, которую тогда еще называли Николаевской.

"Смотри, смотри, тетя Маня, - кричал я, - по Каналаевской опять поезд летит". Когда мы с дедом ходили в Останкино за опятами и пересекали эту дорогу, я его пристрасно расспрашивал: а что это за такие "другие" вагоны - их было два-три в составе - более низкие, светло-коричневые, деревянные, из тонких отполированных досочек, роскошные, явно "особые". Он мне пояснял - это "царские вагоны", и едут в них по два человека в каждой комнатке, вагон весь из них и состоит. В каждой - мягкий диван и кресло, и даже есть умывальник с большими зеркалами.

Железная дорога, паровозы запали мне в душу с тех ранних детских лет. Я долго, даже уже подростком мечтал стать машинистом. Не охладевала мечта, несмотря на почти ежедневные встречи с человеком, отцом семейства с соседнего двора. Хромой и низкорослый, он ходил на работу в сторону

Виндавского вокзала в замасленной черной куртке и таких же штанах, с фонарем на груди и железным ящиком вместо чемоданчика. Он был потомственным железнодорожником. Митька, его сын, мой ровесник, утверждал, что отец - машинист. Но мне не хотелось в это верить.

С железной дорогой в детстве и потом в жизни у меня много было запоминавшихся "встреч", хотя на дальнейшее расстояние я впервые поехал поездом лишь перед самой войной.

Году в 1925-м произошел связанный с железной дорогой такой эпизод в "героической" семейной хронике. Мы жили на даче в Томилино. Отец приезжал раза два в неделю. Мама водила нас с братом встречать его на станцию. Захватывало дух наблюдать, бывало, как проскакивают, гудя и обдавая платформу паром и дымом, скорые поезда. Иногда отец почему-то не приезжал в обещанный день. Мама упорно продолжала сидеть на полянке возле станции и украдкой плакала. Потом все понуро шли обратно. Только много позже я понял в чем дело: отец очень рано стал ей изменять.

Но вот однажды... Отец выходит из вагона. Мы радостно к нему кидаемся, что-то друг другу говорим. Поезд отходит. И в этот момент отец хлопает себя по лбу: "Забыл!" Бросается чуть ли не в последний вагон... И через несколько долгих секунд выпрыгивает уже за станцией прямо на откос. Оказывается он купил новые ботинки кому-то из нас и оставил их на сиденье. Сколько было потом рассказов об этом "подвиге"! Мы восхищались отцом.

Были ли у меня друзья в раннем детстве? Были приятели, один-два. Но другом был Колька Голицын, мой ровесник. Когда нам было по семь-десять лет, он был "бутуз", всегда чумазый, неопрятный. И вроде как, по понятиям моей "аристократической" мамы, мне "не ровня". Тем не менее она не запрещала мне с ним водиться, даже привечала его. Он был добр, покладист, очень любил меня. Я ему отвечал тем же. Колька был сын сапожника. Отца его звали Иван Васильевич. Работал он за своей лапкой на дому, в маленькой комнатке. Квартира их на первом этаже "в тылу" нашего дома, невероятно, помню, захламленная и вонючая - в ней пахло кожей и прочими сапожными принадлежностями. Отец низкорослый, чуть горбатый, чернолицый с острыми черными глазами и тонким крючковатым носом. Не исключено, что

фамилия его выдавала: наверно, какой-нибудь случайный, побочный "приплод" одного из князей.

Мать тонкая, белокурая, с благородным лицом, строгая. Грамотностью оба, и мать и отец Кольки, не отличались.

С Колькой мы дружили по-настоящему, хотя, конечно, я со своим уже приличным французским и игрой на рояли, с книгами, которых уже вдоволь начитался, и он - только с тем, что получал в начальной рощинской школе, вроде как не сочетались "интересами". Сочетались! И прекрасно! Я был выдумщик, но он превосходил меня фантазерством и практическим смыслом. К тому же ловчее меня умел делать все, что нужно было для наших затей: сабли, стрелы, копья, щиты, а позже и "зажигалки" - самодельные пистолеты и ружья, стволы для которых мы изготовляли из труб, найденных на свалке у "Корешка". И стреляли они по-настоящему, - заряжали мы их порохом из отцовских охотничьих припасов, и его дробью или "пулями", нарубленными из гвоздей. "Зажигалкой" это называлось потому, что вместо курка и пистона в стволе делалась маленькая дырочка, к которой прижималась (с помощью ушка из гвоздика) головка спички. Чтобы выстрелить, нужно было чиркнуть коробком по головке - и самый настоящий выстрел, на тридцать-сорок метров. Дважды наши "зажигалки" разрывало. К счастью, обходилось без жертв. По мишеням, воробьям и воронам оружие действовало довольно эффективно.

Я был капризен и вспыльчив и, наверно, сидело во мне это самое "социальное превосходство" над своим приятелем. Ссоры и драки с ним затевал я. И обиду держал дольше я. Колька приходил мириться, даже когда был совсем не виноват.

Вокруг нас были ребята с других дворов. И девчонки тоже. Футбол на "рубцовке"⁴, лапта, горелки и "бабки" (свиные ножки вместо кеглей) во дворе. Зимой мы с Колькой гоняли на коньках, прикрученных к валенкам, по б-му проезду или на бульваре посреди Шереметьевской по утопанному прохожими снегу. А когда чуть подросли, годам к десяти, завелись у нас коньки на ботинках, ходили в ЦДКА. Помню, когда я появился там впервые,

⁴ Сразу за моим двором был большой пустырь, весь усыпанный мелким битым стеклом. До 1914 года тут был водочный завод Рубцова. Когда с началом войны царь объявил сухой закон, жандармы разгромили завод и земля осталась буквально пропитанной осколками бутылок.

меня поразило, что катаются по кругу (а не по прямой, как я привык и представлял себе) и такой массой, что страшновато было вступить в этот сплошной поток.

Запомнились наши возвращения домой. Усталые, надышавшиеся воздухом, радостные от многолюдья и яркого электричества надо льдом, брели мы с Колькой по Александровской улице, предвкушая каждый раз редкостное удовольствие. На углу, напротив "Большого магазина", построенного в 1928 году, стоял двухэтажный дом, довольно своеобразной архитектуры. В нем булочная. Она, как и другие, например, между 5-м и 4-м проездами - "Люсиновская" - называлась в обиходе по фамилии прежнего владельца. Как - я забыл. Там продавались невероятно вкусные "французские булки". Мы покупали их - теплые, пышные, душистые,- и съедали с наслаждением, которое не забылось, как видите, и по сию пору.

Во дворе зимой строили ледяные пещеры и целые крепости, возле которых мы разыгрывали с ребятами из соседних дворов настоящие снежные сражения. Сооружались, как правило, две горы во дворе, возле нашего сарая и рядом с парадным нашей квартиры. Ими пользовались иногда и взрослые, особенно по праздникам, вечерами, после застолий, на Рождество. Впрочем, ни гостей у родителей, ни отца я никогда ни в детстве, ни позже не видел пьяными. Хотя, отец любил иногда пригубить и чуть "веселел".

Вообще говоря, не помню, чтобы в Роще моего детства пьянство было распространенным явлением. Пьяницы были "штучные" и у всех на виду, у каждого была кличка, "отметина". На углу 6-го проезда была "казенка" - в двухэтажном доме, построенном по купецкому образцу: низ кирпичный, верх деревянный. Там толпились (по-современному) алкаши. Там же они вели свои дискуссии, дрались и валялись в лужах или в пыли. По нашему проезду славился один алкоголик. Он жил в соседнем дворе, в квартире окнами на наши сени. Из его квартиры на расстоянии 10-12 метров от нас в теплое время года несло "ханжой". Бабушка, помню, "крестила" его предпоследними словами. Кстати, у него дома умер мой дед - от разрыва сердца. Зашел приложиться после бани. Не были они приятелями. Но дед мой, Иван Иванович, как я позже только стал понимать, был очень одинок, хотя никогда не жаловался на разорение и унижение, которые принесла ему революция.

Мужик этот был, как и Колькин отец, сапожником. Говорили даже, что "модный", умелец, но все заработанное тут же спускал у "казенки". Хорош собой, стройный, гибкий, видно, лихой бабник. Ходил (нет, не ходил, а стремительно всегда куда-то летел), в фуражке старо-военного образца и сапогах.

"Еврейский вопрос". Впервые он возник передо мной в раннем детстве. В соседнем дворе слева, в переднем флигеле с кирпичным нижним этажом, жила большая еврейская семья. Главу семейства помню плохо: вечно в черной фуражке, тонконогий, черный, куда-то всегда бегущий. Остальные в семье, включая жену, были рыжие. Мать запомнил. Приветливая, крикливая, полнотелая, в летнюю погоду вместо платья - в облезлой, грязноватой ночной рубашке, как правило, с одним из самых младших на руках. Молчащей я ее не помню - ни на улице, ни тем более, когда она высовывалась из окна.

Заходил я к ним раз или два. Осталось пугающее и брезгливое впечатление захламленного беспорядка: не поймешь, где спят, где едят, и вообще, какие предметы для чего нужны. Среди бесчисленного потомства был мальчик Исаак (пишу его имя так, как оно произносилось всеми вокруг, без второго "а"). Мой ровесник.

Исаак говорил в еврейской манере и характерно картавил. И, собственно, этим только и отличался от остальных мальчишек трех дворов, которые составляли компанию для больших игр. Никакой, как бы теперь сказали, дискриминации по отношению к нему со стороны сверстников я не помню. Так же как, впрочем, не чувствовал я какой-то враждебности в отношении всей этой семьи. Чуть-чуть ироническое восприятие было. Но это, видимо, в крови у русских по отношению к инородцам: мол, какой-то не такой (что не означало "плохой", а лишь, пожалуй, смешноватый, раз на тебя не похож).

Не запомнилось - а я был очень чувствителен к оскорблениям, касавшимся не только меня, - чтобы кто-то в этих трех соседних дворах называл их жидами. Хозяйку все мы, ребята, за глаза называли Сара, а в общении с ней - тетя Сара.

На углу Шереметьевской и 4-го проезда стоял дом необычного вида - одноэтажный с высокими окнами, с двусторчатым широким входом

посередине (а не с краю, как у других деревянных домов) и с куполом, над которым - шпиль. У меня это "строение" вызывало любопытство не только своей необычностью, но и постоянной вокруг него суетой людей, одетых в черное и всегда в шляпах. Это была местная синагога. И тоже не помню, чтобы роцинское плебейство как-то неприязненно реагировало на этот необычный "объект".

Своеобразный второй этап соприкосновения моего с "еврейским вопросом" - школа, вторая моя школа (N 10). Там ребята были уже в основном не "собственно роцинские", а с Бахметьевской, Тихвинской, Ново-Суцевской улиц, из района Савеловского вокзала. Из 25-30 учеников класса евреев было двое-трое. Среди учителей - один, Ким Михайлович, преподавал нам историю. Красивый, белокурый, с арийски правильным профилем, остроумный, веселый, но умел держать дистанцию - не фамильярничал. Уважали его беспредельно. Девчонки от него просто "помирали". За ним была какая-то тайна. Он явно был не из учительской братии, а "сослан" в школу с партийной или партийно-теоретической, а может и с коминтерновской работы за близость или даже связь с троцкистскими делами. Наверно, поэтому он вдруг однажды "исчез". Нам не объяснили - почему.

Что-то у него было с ногами - то ли отморожены, то ли был ранен. Всю зиму, даже когда не было сильных морозов, он ходил в больших белых валенках. И шутливо, как бы извинялся за это перед нами. При всем превосходстве (не только возрастном) над нами, Ким Михайлович был искренно демократичен: мы, дети, были ему интересны. Это, наверное, и от культуры, и от "школы в революции". Остался в памяти такой эпизод. Повез он нас на трамвае в Исторический музей. Не помню, что мы там смотрели. Вышли. Он вдруг предложил заглянуть в Александровский сад. Побежали. Сгрудились возле знаменитого грота. И началась возня: снежки, подножки, салочки. Мы, мальчишки, позволяли себе разве снежком в его валенки. А девчонки, влюбленные, повисли на нем, повалили. Барахтались в снегу. Каждая наговорила попасть в его объятья, чтоб именно ее он закатал в сугроб. Визжали, хохотали. Отбегали, опять набрасывались.

Почему я связал его с моей темой "еврейства"? Наверное, потому что в моей жизни это была первая интеллектуально яркая, сильная личность. И у меня отложилось - ощущение "качества нации".

Я сказал, что в классе было совсем немного еврейских сверстников. Но один был замечательный. Звали его Люсик Райский. Маленький, сутулый, с челочкой, в очках, остроносенький. Он сидел на первой парте перед столом учителя и очень часто (преподаватели это даже поощряли!) гнусавым, нудным, презрительным голосом поправлял отвечающих, когда они говорили глупости. Он так это и называл. Меня он тоже однажды поправил - на всю жизнь! Не "чего?", а "что?" - в каком-то "контексте" я переспросил учителя именно так. Люсик на этот раз сказал: не "глупость", а "неграмотно". Сам он по всем предметам отвечал блестяще, не по-ученически взросло и обстоятельно. Слабенький физически, он, однако, и у мальчишек и у девчонок пользовался непререкаемым авторитетом. Его любили. А "самый сильный" верзила среди нас, Алексеев, оберегал его от покушений драчунов даже на улице. Уже после войны я узнал, что Люсик, будучи студентом, добровольно ушел на фронт и погиб в первые же дни. Он стал для меня еще одним свидетельством "качества нации".

О "проблеме еврейства" в своей главной школе, где я учился с 8-го по 10-й класс, и в университете до войны я скажу потом.

А пока вернусь в детство.

Законом семьи (я уже упоминал об этом) было - выезжать летом на дачу. Каждый год, как бы ни было трудно материально. Не было пропущено ни одного лета - вплоть до войны. После "классического" дачного Подмосковья по Казанке в первые мои годы, мы обосновались на целых шесть лет в Мякинино (это между Рублево и Павшино, теперь уже - сразу за кольцевой дорогой, а тогда - час поездом с Виндавского вокзала и целый день на ломовике с вещами при отъезде в июне и при возвращении в конце августа).

После первого лета, о котором расскажу позже, наша семья поселилась в небольшом домике, чуть в стороне от главного порядка деревенских домов, на пригорке. Мама умела подыскивать уютные и недорогие "дачки".

Рядом стоял совсем особняком огромный домино, не похожий на избу, квадратный, с венецианскими окнами и обширной террасой, на которой нам

позволяли играть в салочки, если шел дождь. Здесь не было хозяев: он, наверное, был "общественным", сельсоветовским. Снимала его одно время, в течение двух лет семья директора авиационного завода. Он приезжал на "линкольне" (с фигуркой вытянутой в прыжке собаки на радиаторе). Иногда летал над деревней на биплане вроде "У-2". Махал нам оттуда шлемом, а мы, мальчишки, кричали, прыгали.

Жена его выносила простыню и вместе с моей матерью, взявшись за концы, они трясли ее, чтоб виднее было. Эта супружеская пара была моложе моих родителей. Он белокурый, доброжелательно-приветливый, очень "самостоятельный" и снисходительный. Она красивая, светлая, высокая, с пробором и пучком. Держались они с моими родителями и их приятелями приветливо, но в компанию не входили, сторонились. У них был мальчик, младше меня. Спокойный и вроде "доступный", и все же какой-то "не свой", уже, видно, чувствовавший свою "особенность". Думаю, это была "новая интеллигенция", но еще не та, которая пришла из рабфаков и первых советских вузов, а сродни "бывшей", хотя и другого поколения - из "спецов" на службе советской власти.

В Мякинино снимала дачу и моя крестная. Она из тех московских барынь, с которыми мама сдружилась еще в свои девичьи времена. Звали ее Марья Николаевна Базилевская. Полная, но не расплывшаяся, высокая, она напоминала конус. Что-то от литературной помещицы было в ее манере держаться: какая-то особенная уверенность в том, что к ней должны все "хорошо относиться" и уважать ее. И она действительно внушала почтение, хотя была "проста" и хлебосольна невероятно. Я любил к ней бегать один. Она меня баловала. Ее пироги были, конечно, не такие вкусные, как бабушкины, но зато... от крестной! Любила мне что-нибудь рассказывать, занимаясь домашними делами, читала вслух для меня и своего сына Юрки (на год старше меня). "В ее исполнении" я пережил (!) историю "Принца и нищего", которая потом долго питала мои фантазии.

Марья Николаевна была замужем за поляком. Звался он Момерт Густавович Базилевский. Типичный (прямо как в кино) российский инженер высшего класса. Говорили, что он крупнейший специалист гвоздильного производства. Когда я вспоминаю его, на память приходят портреты Эль Греко. Темноватый цвет несколько вытянутого лица с бородкой клинышком,

седые волосы, поблескивающий спокойный взгляд, редкая, приветливая, но с оттенком надменности улыбка. Словом, "классический" интеллигент-дворянин. Крестная была с моими родителями на "ты", маму называла только Оленькой (она старше была лет на пять), а Момерт Густавович - с обоими на "вы".

С Юркой Базилевским мы в том, раннем детстве, когда нам было по десять лет, как-то не сошлись. Он был несколько, скажем так, экстравагантный в поступках, неприятно неожиданный, нелояльный в мальчишеских играх. Обрели мы друг друга много позже, когда стали студентами. Он, крупный, "пьер-безуховского" типа, оказался интересен, многообразен, интеллектуально богат. Стали часто встречаться. Он приезжал в Рощу, я к нему - на Донскую улицу. Кстати, еще совсем маленького, четырех- или пятилетнего отец с матерью возили меня "по праздникам" к крестной в Замоскворечье. Это было долгое, необычайно увлекательное для меня путешествие. Ехали на 11-м трамвае - через Самотеку, Трубную, Неглинную, по Охотному ряду, по Москворецкому мосту через Красную площадь, мимо "Минина и Пожарского", которые тогда стояли напротив Мавзолея возле ГУМа и очень меня занимали, особенно зимой, своим голым видом. Квартира крестной была в одноэтажном особняке за палисадником, раньше он принадлежал им весь, а в мое время, после революционного "уплотнения", - лишь две комнаты, тесно заставленные любопытными старинными предметами.

А Юра Базилевский в 1941 году ушел на фронт и вскоре пропал без вести. Крестная мучительно ждала его всю войну и годы после. Так и не дождалась и ничего не узнала о нем. Я ездил к ней, вместе горевали. Я будто заменял ей в эти долгие часы сына.

Дачная деревня, особенно Мякинино, сыграла формирующую роль в моей жизни. Это ведь было время между 1926 и 1932 годами - детство и отрочество. Там я соприкоснулся с природой, впервые ее почувствовал, породнился с ней... Разглядел деревенскую жизнь, увидел настоящих крестьян. Там я научился различать деревья, травы, цветы. Там я узнал прелесть собирания грибов и ягод.

Там, в Мякинино, я впервые понял, что очень существенны различия между взрослыми - бытовые, социальные, индивидуальные и усвоил, что

нельзя со всеми вести себя одинаково, если хочешь нравиться. А нравиться я хотел. Это, видимо, было "заложено" во мне. Я не стал обманщиком, вруном. Но усвоил, что надо "уметь подавать себя" в зависимости от того, с кем и когда имеешь дело.

Мякинино для меня стало - на всю последующую жизнь - эталоном русской деревни. Что бы я потом ни читал - Толстого, Гончарова, Чехова, Бунина, Пушкина, "Поднятую целину" или "Тихий Дон", советских писателей-деревенщиков и вообще всяких, даже иногда иностранных, - любой деревенский сюжет как бы проецировался на Мякинино. В памяти вновь и вновь возникали его избы, выгоны, усадьбы, поля, куртины, пригорки, дороги, соседние леса, ближние и отдаленные, "горка", липовая роща (вырубленная дотла во время войны), сосновый бор за ней, болотца, Москва-река, пляжи, обрывы. Познал я ночное, - мне не раз разрешали "скакать на коне" в сумерках вместе с деревенскими ребятами - "выгонять" колхозных лошадей на ночь на луг. На себе испытал, что значит рысью, галопом, в карьер. И дважды был сброшен вверх тормашками.

О каких бы событиях на селе я потом ни узнавал - из газет ли, по радио, по чьим-либо рассказам - ситуация всегда в моем воображении конкретизировалась "через Мякинино".

Врезался в детскую память и тоже остался "эталонem" для сравнения с тем, что вычитывал из книг, один эпизод, относящийся к 1927 или 1928 году. Очень, видно, богатый человек устроил для своей маленькой дочери день рождения на "куртинах", - в разреженной сосновой рощице над обрывом к Москве-реке. Столы под белыми скатертями на десятки метров, бумажные китайские фонарики над ними, стрельба шампанских пробок, фейерверк на несколько часов... Гости: приезжие московские - в белых костюмах и кружевных платьях, местные - вся деревня, кто только мог и хотел. Сотни людей. И веселье до утра. Такое я видел потом только в кинофильмах о дореволюционной России.

Соприкоснулся я в Мякинино и с "отдыхом аристократов". На лугу - от деревни к излучине Москвы-реки - "очень интеллигентные дяди" сами расчистили площадку для тенниса, оборудовали два корта и по вечерам, возвратившись со службы из Москвы, кто поездом, кто на автомобиле, играли. Я страшно им завидовал. Попросил отца привезти валяющуюся в

чулане в Москве ракетку. Пытался ее "наладить" с помощью проволоки и бечевки, но после двух-трех ударов по мячу все рвалось. А попросить отца отдать перетянуть - стеснялся. Теннисисты, увидев мою ракетку, обидно пошутили. Она была "допотопная", в форме правильного эллипса. Да и сам я был слишком мал, чтобы играть. Зато успел влюбиться в девушку, которая очень хорошо сражалась с этими "ненавистными" мужиками. Смуглая, долгоногая, высокая, в белом коротком платьице с пояском, с короткой прической тех времен (квадратиком на лбу). Когда вспоминаю Мякинино, она встает перед глазами... Она была добра ко мне, поняла мои страдания. Когда мы оказывались вдвоем у кортов, пыталась со мной играть. И я был отчаянны - ничего не получалось. Я превращался в "мальчика, бегущего за мячом". Причем бегать приходилось далеко, потому что сеток ограждения на этом самодельном луговом корте не было.

Наблюдал я там и сцены, которые потом обросли литературными ассоциациями и так зафиксировались на всю жизнь. Понятие - "первый парень на деревне"... Был такой в Мякинине. Красивый, стройный, белокурый, лет двадцати-двадцати пяти. Помню его в красной рубашке с пояском-шнурком, на концах кисточки. Появлялся он на людях редко, но по праздникам (тогда еще церковным) и воскресеньям - непременно. О нем ходили всякие легенды: то ли он убил кого-то, то ли порезал. Во всяком случае, что-то "преступное" было при нем в деревенских пересудах, но "не в осуждение". Это разбойное в нем нравилось, вызывало восхищение, смешанное со страхом. Девки деревенские, не рассчитывая на его внимание, смущались и прятались друг за дружку при его появлении. У него была "своя" царица. Одевал он ее по-городскому и дорого. Коронный его номер по праздникам - прыгать в Москву-реку с высокого обрыва, метров эдак восьми. А глубина в том месте была не более человеческого роста. Собиралась вся деревня. Никто из парней не рисковал последовать ему... И не только потому, что боялись разбиться, а главным образом, чтобы не вызвать его гнев.

Там же, в Мякинино, я впервые увидел вблизи армию. На тех же самых опушках и перелесках, где мы играли в войну, бывали настоящие маневры. Нас, мальчишек, подпускали к пушкам (трехдюймовки, которых я уже узнавал по картинкам в журналах), к "максимам", танкеткам. С затаенным восторгом мы смотрели на артиллеристов и танкистов, немножко, как уже

тогда показалось, красовавшихся перед нами, "заинтересованными" и строгими ценителями. Таким образом, изначальное представление о Красной Армии тоже сложилось там и тогда и осталось как бы точкой отсчета при соприкосновении с этой темой. Надолго, вплоть до начала войны.

Впервые здесь, наблюдая родителей в их дачной раскованности и общении со знакомыми, приятелями и родственниками, я стал сравнивать их с другими взрослыми. И далеко не все мне нравилось, особенно в поведении отца. Бывало иногда стыдно от его фамильярности, пошлых шуточек. Зато в общении с некоторыми (с тем же соседом-директором авиазавода) проскальзывало что-то подобострастное, приниженное. Меня это коробило.

Было бы лукавством сказать, что я пишу эту книгу, чтобы освободиться от прошлого. Напротив, с ее помощью я погружаюсь в него, переживаю его вновь, "зову" его и им "услаждаюсь".

Итак, в Мякинино я впервые ощутил в себе критическое отношение к родителям и, начавшееся именно тогда отчуждение от отца.

Такой эпизод, о котором спустя шестьдесят пять вспоминаю со стыдом. Бывало дрались мы с деревенскими. С переменным успехом, но когда "с той стороны" оказывались ребята постарше, нам доставалось. Отец замечал, расспрашивал. Обычно я отнекивался. Но однажды, наверное, после очередных таких расспросов, сыграл труса, поступил подло. Родители со своими приятелями играли в волейбол. Происходило это на лесной полянке. Кстати, играли они неумело, "через веревочку", на сетку не сподобились. Выглядело это смешно, мне казалось - для взрослых людей как-то даже унижительно. Но им было весело, они забавлялись игрой в мяч азартно и шумно.

Я стоял в сторонке. И вдруг, вижу по дороге идут деревенские ребята. Среди них - мой недавний обидчик. Я говорю отцу, показывая пальцем, - "вот этот!" Отец бросился за ним, догнал, повалил, уселся на него и отшлепал обеими ладонями по заднице. "Картина" до сих пор перед глазами. И каждый раз мучительно стыдно - не знаю, куда деваться от совершенной подлости, негодяйства. Но отец-то каков! Взрослый мужик, бросил игру и на глазах своих знакомых, женщин, на глазах у Ольги Ивановны (хорошенькой "молодки", на которую отец явно положил глаз)... так некрасиво, так не по-мужски "наказал" тринадцатилетнего парня! Эта сцена сильно уронила его в

моих глазах, необратимо, хотя виноват был в ней я: моя подлость ее спровоцировала.

И с тех пор, чем старше я становился, тем устойчивее во мне укреплялось невольное правило: думать и поступать наоборот. Если отец что-то утверждал, я сразу же для себя решал: сейчас и по любым аналогичным случаям, если таковые встретятся в жизни, надо говорить и думать "не так". Если он держался с людьми так-то, и вообще вел себя на людях или дома определенным образом, надо, засекал я, это учесть, чтобы не поступать так же. Я не спорил с ним, даже повзрослев. Может, именно потому, что он "готовил" меня стать инженером-механиком, я переметнулся в гуманитарии...

Серьезный скандал у меня с ним был, кажется, только раз. Произошло это так. Я в 7-9 классах носил длинные волосы, подражая Белинскому, Писареву и т. п. Знакомые находили, что это придает мне сходство с молодым Горьким. Впрочем, на него я не старался походить. Во дворе меня поддразнивали - похож на попа. Маме моя "голова" тоже не нравилась, уговоры не помогали. И она решила одним махом "поправить" прическу. Я сидел в кресле, низко наклонившись, положив перед собой на стуле книгу, читал, увлекся. Она подошла и неожиданным движением ножниц отхватила мне свисавшие со лба космы. Ошарашенный я бросился к зеркалу и ... пришел в исступление. Я был обезображен: спереди волос почти не осталось, а на висках, на затылке, сзади - по-прежнему на вершок. Мать, видно, хотела мне сделать аккуратную челку, но промахнулась, потому что действовать надо было быстро. Она сама была обескуражена. А я орал в безобразной истерике: "Ни в какую школу я никогда не пойду! И вообще никуда... Убегу из дома! Это издевательство!" В этом состоянии нас застал отец. Он стал кричать на меня - как я смею с матерью так разговаривать. Но почему-то (я этого теперь уже не помню) отбросил и мать - так, что она упала на стоявшую рядом кровать. Я продолжал бунтовать. А отец, видно, поняв, что он был груб и, как бы теперь сказали, не адекватен ситуации, выбежал в другую комнату, плюхнулся на диван и зарыдал. И бабка с матерью стали его приводить в чувство.

Я все же побежал в парикмахерскую. Тогда каким-то чудом сохранялась еще частная парикмахерская, между 5-м и 4-м проездами, с

тазами, умывальниками и прочими аксессуарами, известными по фильмам о дореволюционной жизни. Грузный, в типичном жанре своей профессии мастер хорошо меня знал. Был удивлен моим видом, но ничего не сказал. Поскольку я не разрешил стричь себя под машинку, а правильно поступить было бы именно так, он изобразил на голове моей нечто несурзное, чтобы уродство не очень бросалось в глаза. На другой день в школе, куда я все-таки пошел, мой вид "в глаза бросился". Ребята, поняв по моему состоянию, что что-то произошло, не приставали. Только мой друг Дезька Кауфман (будущий великий поэт Давид Самойлов) хмыкнул и произнес, похлопав по плечу: "Что-то у тебя, Толедо⁵, сегодня несколько странная прическа".

На перемене я увидел в школьном дворе отца. Я оценил, как он переживал ссору, боялся за меня - не отмочу ли я действительно чего-нибудь, как грозился накануне.

В общем-то, и в мои поздние школьные годы, и после войны, и когда отец ровно в шестьдесят лет вышел на пенсию, и во время его долгой болезни в течение последних десяти лет жизни, он вызывал во мне скорее раздражение, чем сочувствие. И мне не хотелось с ним обсуждать ни мои дела на работе, ни "международное положение". Единственное, о чем я жалею и о чем уже упоминал, что в свое время не расспрашивал подробно о его участии в первой мировой и гражданской войнах. Остались лишь фотографии - в том числе групповые, в окопах, возле землянки, рядом с поручиками и полковником. А как хочется, когда я на них смотрю, пофантазировать об их судьбе, "наложить" на ход событий в российской трагедии...

Драки. Их было много. Я был драчлив, хотя и не агрессивен. Обиду, посягательство на мое мальчишеское "достоинство" не спускал. Предварительно должен сказать о хулиганстве, якобы особенно характерном для таких районов тогдашней Москвы, как Марьино Роща. Не знаю, как где, но в отношении моей "малой родины" это стереотип, сложившийся, видимо, с чьей-то легкой, но не очень обремененной фактами, литературной руки. Конечно, были "шпанистые" стайки ребят разных возрастов. Озорвали. Воровали, бывало, что плохо лежит, но не в "организованном, мафиозном порядке". И боялись взрослых. Еще больше - одного упоминания "20-го

⁵ Тогда все мы болели войной в Испании. Дезька избрал соответствующие клички. Меня он назвал Толедо Гвадаарамович Аранжуэзский.

отделения". Слово "милиции" не добавлялось: всем было ясно, что это такое. "Привод" туда рассматривался и как наказание, и как позор. На Шереметьевской у 5-го проезда стоял постовой с наганом через плечо - единственный на всю Рощу страж порядка. К нему апеллировали по всяким поводам, включая семейные ссоры. Являлся, унимал, возвращался на свой пост... Совсем не было ощущения, что на Шереметьевской и на всех четырех улицах вправо от нее, и влево - на Александровской и дальше - к заводам "Борец" и "Станколит" небезопасно. Днем ли, вечером ли, ночью, случаев бандитизма, разбоя, дерзких ограблений я не помню... О них сразу бы заговорила вся округа.

Итак, драки. Мои драки. Мелких стычек в раннем детстве я не считаю. А вот уже начиная с десятилетнего возраста были и драки, которые могли закончиться "последствиями".

Бывали драки типа "дуэли". Называлось это "стыкаться". Одна из них - со школьным приятелем, когда были в 6-м классе. Запомнил только фамилию - Александров. Жил он как раз "за линией" и из школы (а учились в третью смену, то есть начиная с трех-четырёх часов дня) ходили вместе - я до 6-го проезда, он - дальше. Из-за чего-то поссорились. И вызвали друг друга "стыкаться". Человек пятнадцать из класса пошли наблюдать. Мой брат, Лева, на класс старше меня, - тоже. Место выбрали ребята. В начале бульварчика, который тогда был на Суцевском валу и тянулся от фабрики Ногина до того места, где позже был построен трехэтажный гараж. Ребята встали в кружок. Мы с Александровым сбросили пальтишки и принялись колошматить друг друга. Продолжалось это минут 15. Устали. Ребята решили: "ничья". Разошлись, а мы втроем - он, я и Левка - пошли домой. Сначала вроде мирно, но потом заспорили: каждый настаивал, что победил он. И, дойдя до 4-го проезда, решили возобновить "дуэль". Дрались жестоко. Я начал уступать ему, и Левка стал разнимать. Александров выхватил ножик, мы с Левкой бросились бежать.

В той же школе, когда я был в 6-м классе, случилась драка, которая могла для меня обернуться совсем плохо. До сих пор, бывая в Роще, подхожу к этому месту - на углу Вышеславцевского переулка и Суцевского вала, где мог бы и оборваться мой, оказавшийся столь долгим жизненный путь.

Кончилась третья смена часов в восемь вечера. Дело было зимой. Все бросились по лестнице в подвал: там гардероб. Очереди к разным "тетенькам"-гардеробщицам. Парень из параллельного класса лезет без очереди. Я его - за шиворот и оттаскиваю. Он разворачивается и дает мне по скуле. Ярость, которая мгновенно переходит в бешенство, когда я уже "не знаю, что делаю", и которая не раз прорывалась в разных обстоятельствах моей жизни, ослепила меня. Я его избил так, что он свалился с ног. Вставая, выпуская соплю с кровью из носа, мямлит: "Вот выйдешь, выйдешь!"... Девчонки, которые, расступаясь наблюдали эту сцену, восхищаясь мной, затараторили: "Не выходи, беги в учительскую, у него тут банда у выхода". Гонор, да еще перед девчонками, не позволил мне последовать их советам.

Я вышел на улицу. Справа стояла группка ребят, человек десять. Над ними возвышался на две головы великовозрастный верзила. Избитый мной парень завопил: "Вон он, вон он!" Я рванул бежать в сторону Сущевского вала. Убежал недалеко. Верзила сапогом поддел мне сзади ногу, она заплелась за другую, и я рыбкой нырнул вперед, опрокинувшись сразу навзничь. На руки и ноги мне наступили. Главарь нагнулся: " Ну что, гад...(матерно)?" "Кончай его",- услышал я. Верзила с размаху ударил мне по голове сапогом. Помню, что вскрикнул и затих. Услышал только: "Готов!", и, как теперь выражаются, вырубился. Подняли меня девчонки из класса. Удар пришелся в кость возле глаза, чуть ниже виска. Полтора-два сантиметра выше - и был бы действительно "готов".

Дня три я не ходил в школу. Родителям сказал, что возились и я упал, ударившись о край обледенелого тротуара. Рожа вся раздулась, заплыла.

Запечатлелась еще одна драка. 1933 год. Жили на даче в Лайково, в трех-четырех километрах от станции Пионерская (это между Одинцовым и Перхушковым). Дом и сейчас стоит - видный, большой, на краю оврага в середине села, напротив пруда и разрушенной церкви (сейчас ее восстанавливают). Не знаю, как это называется, но у многих изб над передней частью крыши возвышается этакий фронтонок, напоминающий домик-теремок, с резными украшениями и подпорками, своеобразная миниатюрная терраска. У нашей дачи был такой красивый фронтонок. А на терраске поперек мог уместиться разве мальчишка вроде меня. Вот туда я и забирался. И читал, читал, читал тургеневские романы один за другим.

Но о чем это я? Да... О драках. Впрочем, такое отступление, возможно, кстати.

Так вот. Мы с братом ходили на станцию встречать отца. Дорога шла и полем и лесом, а вблизи станции - через поселок. Однажды, посреди его главной улицы и произошло то, о чем я хочу рассказать. Стояла на дороге группа ребят, человек восемь. В кружок, нагнувшись голова к голове, что-то, видимо, разглядывали на земле. Ничего не подозревая, мы хотели обогнуть их, пройти мимо. Поэтому пошли с Левой не рядом, а он впереди, я сзади. И вдруг один из парней с силой брыкает Левку ногой. И разворачивается, оскалившись ко мне. Во мне - опять "та самая" вспышка ярости. Я с размаху бью ему в морду. Он ошарашен, все ошарашены: нас двое, их много. А я продолжаю бить и бить ему в лицо, он едва отмахивается, видимо, от неожиданности "отключившись". Это продолжалось несколько секунд, может, минуту. Ребята спохватились, но мы с Левкой уже мчались к станции. Отец поднимался нам навстречу. Мы "были спасены".

Но после этого ходили его встречать, прихватив самодельную финку, сделанную из сапожного ножа.

Но я отклонился. Впрочем, это неизбежно при такой манере описания своей жизни. Я все еще не могу оторваться от Мякинино. Видимо, там определился мой характер, "система ценностей", ограничителей, моральные критерии "хорошо-плохо". Потом все это лишь адаптировалось к обстоятельствам.

В Мякинино же я заболел бронхиальной астмой, которая сыграла в моей жизни существенную роль. Мы играли: прыгали на сеновале. И вдруг я почувствовал удушье. Мама - в панике. Повезла в Москву к знаменитому Михаилу Ивановичу⁶. Михаил Иванович диагноз поставил точный. Лечения не назначил практически никакого. Тогда лекарством при бронхиальной астме был один только астматол - вонючая трава, похожая на махорку. При приступах я и курил ее в самокрутке, а позже - в настоящей трубке.

⁶ Фамилия его была Соколов. Он ходил на протезе - потерял ногу на войне. Жил он на 2-й улице в совершенно "чеховского" типа одноэтажном домике, окрашенном в белый цвет, с характерным крылечком, резными наличниками на высоких окнах и т.п. Здесь же в отдельном помещении он принимал больных. Это был "частный доктор". Почитала его вся Марьяна Роца как благодетеля и спасителя. И знали его все от мала до велика. Верили как самому Господу Богу, подчинялись беспрекословно.

На этой же улице была маленькая поликлиника. Но хоть Михаил Иванович был "платным доктором", в любых более-менее серьезных случаях обращались только к нему. Это был - оценил это я, конечно, позднее - образцовый земский врач, какие запечатлены в нашей литературе на рубеже веков. С универсальной квалификацией, безошибочной интуицией, безукоризненно внимательным отношением к людям.

Он тогда же сделал прогноз: пройдет к двадцати пяти годам. Если нет - к сорока. Если и в сорок лет не прекратится - останется до самой смерти. В канун своего сорокалетия (год в год) я отстрадал свой последний приступ!

Итак, била меня эта мучительная болезнь более половины прожитой до сих пор жизни. Регулярно, раз в месяц, два-три дня изнуряющий приступ. Но она же вынудила меня постоянно заботиться о своей физической, спортивной форме, к тому же оградила от инфекционных заболеваний. В результате я "сохранил фигуру" едва ли не до шестидесяти лет. А это и на характер влияло, ибо, в частности, сказывалось на стержневом направлении моей жизни, на "женском факторе" в определении моего поведения и моей судьбы.

Тайна женщины - на всю жизнь. Я сызмальства был очень влюбчив - и это осталось на всю жизнь. Первая моя любовь случилась - как бы ни смеялись, когда я об этом вспоминаю, - в семилетнем возрасте. Настоящая, страстная, отчаянная, беспощадная к самому себе.

Это происходило на даче в том же Мякинино. Мы жили в большой избе, крайней в ответвлении от основной деревенской улицы. Совсем рядом - лесок, его называли - "на горке". С нами в этом большом десятиконном доме жило две семьи - моих двоюродных брата и сестры, и моих троюродных сестры и двух братьев. Все примерно одного возраста. У жены моего двоюродного дяди была сестра, у этой сестры - дочь Женя. Вот про нее-то и пойдет речь.

Она уже семнадцатилетняя девушка, то есть на десять лет меня старше. Красивая необычайно. И это не только на мой влюбленный взгляд. Все говорили о ее красоте, все вокруг ею восхищались. Каштановые с черным отливом волосы, черные брови, сверкающие темные глаза, тонкие, совершенно правильные черты, нос чуть с горбинкой, очаровательный овал лица и рот, от которого, когда она обращалась ко мне, я столбенел.

Женя с матерью и отцом тоже жила в Марьиной Роще, в 3-м проезде. У них был целый особняк "нэпмановской" архитектуры, с большим заросшим садом.

Мать помню хорошо, - полноватая смешливая барыня (или купчиха уже нового, цивилизованного образца). Отец - "красавец мужчина" с пробором и загнутыми вверх острыми усами - ну, прямо с фотографии начала

века. Говорили, что в нем есть что-то от цыганских кровей. Семья была богатая: шел расцвет НЭПа.

Иногда, по воскресеньям, они втроем приезжали к нам на дачу - в гости к своим родственникам. Чаще же Женя приезжала одна. И я влюбился. Это "вползало" в меня с каждым ее появлением. И, наконец, завладело мной до помрачения. Она заметила. Была со мной подчеркнута ласкова. Поглядывала, улыбаясь и, как мне казалось, "откликалась" на мой осатанелый жадный взгляд. Я искал возможности дотронуться до ее руки. Норовил усесться рядом, когда обедали или ужинали. Замирал, слушая ее. Верхом счастья для меня было, когда она звала меня (одного!) "погулять", оставив всех остальных детей играть в свои игры. Мы шли обычно вдоль леса полем... Я до сих пор помню все изгибы той дорожки, тех тропинок. Все, что было вблизи и вдали! Мне казалось, что из меня все куда-то улечувивается и остается одно - безмерное обожание.

Зная, что она должна приехать, я чуть ли не спозаранку бежал через всю деревню к пешеходному мостику на Москва-реку. Сидел на высоком обрыве, приходя в неодолимое волнение до дрожи, каждый раз когда очередной поезд приближался к Павшино - километрах в двух отсюда. Минут десять спустя пассажиры-дачники начинали появляться из-за домов пристанционного села на дорожке, ведущей к мосткам через реку. Я мучительно искал среди них обожаемую фигурку. И наконец - она. Она приближалась. Замечала меня. Взмахивала рукой. И я бросался через мостик к ней навстречу. Она брала мои руки в свои. Никогда не целовала меня - ни в голову, ни в "щечку". Других детей целовала. Женское чутье, теперь думаю, подсказывало: нельзя этого делать. Она чувствовала, что я на грани психического срыва.

Ужас моего положения состоял в том, что она была невеста. Жених - молодой купчик, белобрысый, крепкий, разбитной. Она на его фоне выглядела изысканной королевой из другого мира. Он жил тоже в Марьиной Роще, между 3-м и 2-м проездами, в особняке, построенном еще до революции в стиле тогдашнего модерна, с какими-то (как я позже определил) квазиготическими деталями. Ненавидел я его люто, сжигающей ненавистью. Со сладострастием выдумывал для него разную гибель: то поезд, на котором он едет в Павшино, терпит крушение, то на него наскакивает пролетка, то он

падает с того самого мостика в воду и тонет, то под пьяную руку его убивают деревенские мужики... Он был шумно весел, самоуверен, на меня не обращал никакого внимания.

Когда они вдвоем уходили гулять, я бежал подальше в лес, забивался в кусты и рыдал, проклинал себя, всех и все на свете, давал себе клятву - "никогда больше" не возвращаться домой.

Взрослые посмеивались над моей страстью. Не очень явно, но я замечал. Только мама с тревогой наблюдала за мной. Она понимала, что, пусть это что-то ненормальное, но глубокое и потому опасное для такого возраста.

Свадьба состоялась осенью. Мне об этом сообщила Тоська - троюродная сестра. Я пошел к "его" дому. Огромная толпа - приглашенных и любопытных. Много извозничьих пролеток, открытый автомобиль "паккард" - для новобрачных. Стоял я в отдалении, убитый, опустошенный. Долго ждали выхода. Наконец, новобрачные появились на крыльце. Она была ослепительна. А я? Я мучительно ждал - посмотрит вокруг, поищет меня глазами?! Сели в машину - вся процессия и толпа за ней двинулись к Лазаревской церкви.

С того дня я Женю почти не видел. Встречал ее раза два на Шереметьевской, уже будучи студентом. Кланялся ей. Она печально улыбалась мне в ответ. Такая же красивая, но бедно одетая, загнанная. (Обе семьи, конечно, попали под нож первой пятилетки. Отец вскоре умер, мать куда-то выселили. Теперь уж не помню, сохранился ли ее брак.)

Так начинался длинный список моих любовей. Вторая моя любовь... Последний год на даче в Мякинино,

1932-й. Мне одиннадцать лет. Мама почему-то решила отказаться от того дома, в котором мы прожили предыдущие пять лет.

Наша новая "дача" была в обычной, скучной избе посреди деревни, неподалеку от школы. А в предпоследнем доме на краю деревни появилась в этот год девочка Вера, чуть старше меня. Познакомились случайно. Я стоял у изгороди своего дома, в кустах высокой акации. Просто глядел на дорогу, на поле, на Павшино за рекой. Мимо шли две девочки. Одна из них поразила меня статью и красотой (я влюблялся только в красивых!). Уставился на нее и непроизвольно, от смущения поздоровался.

"Здравствуй", - сказала ее подруга. Они остановились. Произошел обычный для такого возраста обмен репликами. И они пошли дальше. Вдруг подруга оглянулась и кричит: "Эй! Приходи к нам. Мы на том конце живем".

На другой день я отправился на "тот конец". Но я не знал, где именно они жили. Уселся на траве в виду последних трех домов. Просидел, наверное, час. Никого не увидел. На следующий день занял ту же позицию. Повезло. То ли она увидела меня из окна, то ли сделала вид, будто случайно обнаружила, выйдя на терраску, но помахала рукой и подошла к калитке. Поговорили. Я получил разрешение "приходить и дальше".

В очередной мой приход Вера стояла перед домом с той же подругой. Та уже все поняла и начала нас "сближать". Вера оставалась "холодной", неприступной. Разговаривала пренебрежительно, глядя мимо.

Подружка пошла меня проводить. Я узнал, что она венгерка, дочка инженера, приехавшего работать "на стройках пятилетки". Таких привилегированных иностранцев было много тогда в Москве. Дети их учились в специальных закрытых школах. И учили их, видно, хорошо. Дина (кажется, так ее звали) уже свободно говорила по-русски. От нее, кстати (когда подружился и она стала моей преданной наперсницей) я впервые узнал, что делают "папа с мамой", ложась спать. Она будто бы, еще маленькая, напрашивалась к ним под одеяло и притворялась спящей. А сама наблюдала, чем они там занимаются... Уж не знаю, как это ей удавалось в темноте. Но рассказы ее на эту тему произвели на меня впечатление.

Увлечение Верой разгоралось во мне со скоростью облитого бензином костра. Я потерял контроль над собой. Не спал, почти не ел. Бабушка, которая нас с братом и сестрой "пасла" в отсутствие родителей, не знала что и делать. Охала и увещевала. Я с раннего утра исчезал и являлся затемно. Любовный маршрут был такой: я поднимался "на горку" (тот самый лесок), бежал мимо пчельника, мимо дома лесника, то есть делал круг километра в полтора и приближался к Вериной даче сзади, по опушке, под прямым углом подходившей к краю деревни. Проходил мимо дачи, будто бы случайно. Если Веру не обнаруживал, проделывал этот круг и два, и три раза, до тех пор, пока она не снисходила заметить меня.

Как правило, мне разрешалось посидеть на крылечке террасы, пока она была "занята" в комнате. И тут я невольно соприкасался с ее семейством.

Мать была со мной очень неприветлива, словом, бывало, не обмолвится. Мал я еще был, но уже начитан, было с кем сопоставлять, да и чутьем распознавал в ней претенциозную мещанку, которая строит из себя барыню. В кудряшках, широколицая, ширококостная. Откуда, думал, у Верки такая красота? Отец появлялся редко, по выходным. Он был, кажется, мастером в типографии. Дородный и спокойный, но тоже словно не замечал меня. Была еще бабка, совсем деревенская, которая до того не обращала на меня внимания, что, убирая, например, со стола на террасе, ссала прямо на пол из-под широкой сарафанной юбки, расставив ноги. Возможно, решил я, так принято в деревне. Я даже поинтересовался у своей бабушки, которая была возмущена и самим таким действием, и моим вопросом.

Тем не менее моя любовь представлялась мне неземным существом, принцессой из сказки.

От первой своей любви к семнадцатилетней Жене я узнал, что любовь - это мука. Теперь я познал и другое - любовь это и готовность терпеть унижения. Я, который не сносил малейшего оскорбления словом или действием от любого себе подобного, оказывается, способен был переносить самые настоящие издевательства капризной девчонки, даже в присутствии других. Она просто наслаждалась моей покорностью, готовностью выполнить любую ее прихоть. Помню, пошли мы компанией в Архангельское (от Мякинино километрах в десяти). На обратном пути она заявила, что устала и потребовала, чтобы я нес ее на руках. И я понес. Хотя она была отнюдь не хрупкой и легонькой. Не помню, сколько у меня хватило сил и любовного упрямства, но нес я ее довольно долго, сопровождаемый подначками и насмешками остальных.

Лето было потеряно. Я уже не играл ни в какие игры с ребятами. Не ходил за грибами с братом в липовую рощу и сосновый бор. Ничего почти не читал (запомнилась одна какая-то книга про доисторических людей). Купался только когда Вера приглашала. Словом, весь "износился", к величайшему огорчению бабушки.

О чем мы разговаривали вдвоем и втроем, включая мадьярку, естественно, не помню. Запечатлелось только, что Вера увлекалась опереттой и все время напевала что-то то из одной, то из другой. С тех пор у меня застряли в "подкорке" некоторые мотивчики. Но, разлюбив Веру, я люто на

всю жизнь возненавидел и оперетту, видно, в отместку за унижение той любви.

Угасла моя любовь, оттесняемая школьными и иными заботами. А также красоткой в моем классе Лелькой Мойсюк - из тех, в кого, едва ли не в каждой школе, бывают влюблены все мальчишки сразу. Мне, конечно, ничего не досталось от даров этой королевы класса. Казалось, что ко мне она подчеркнута насмешлива. Любовался ею в тайне, на каток в ЦДКА ходил, если узнавал, что она туда собирается со своей подружкой Тамарой Красовской (некрасивой, но строгой девицей, выбранной Лелькой, как полагается, для контраста). Счастлив был, когда соглашалась в паре прокатиться со мной круга два-три. Форсил, "газовал", как тогда выражались, стараясь попасться на глаза, обгоняя на быстрых поворотах.

Но Лельку я не числю среди своих "любвей" - это увлечение. Видел я ее в последний раз у Красных ворот в сентябре 1941 года, опять же вместе с Красовской. Я только что вернулся из-под Рославля с трудфронта и собирался в армию. Они шли навстречу, обе в военной форме, затянутые, в сапожках. Поздоровались, облили меня презрением: я еще "в гражданском". Что с ней стало - не знаю.